

ПАНАТОМИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО ЗНАНИЕ О ТОМ, ЧТО «ЗНАЕШЬ, ЧТО ВЛЮБЛЕН»?

Наивное понимание любви рассматривает все связываемые с ней экзистенциальные переживания как примеры проявления романтических чувств. Однако более внимательный анализ речевого поведения влюбленного заставляет усомниться в подлинности романтических переживаний. Единственным эталоном настоящей любви может служить только основанная на чувственности сексуально окрашенная страсть.

Ключевые слова: романтическая любовь, вечная любовь, страстная любовь, сексуальное влечение, влюбленный зомби.

*Это — текст, который
[не] посвящается [ни]кому[?!]
О чем невозможно говорить,
о том следует молчать.
Людвиг Витгенштейн
«Логико-философский трактат» (§7)*

1. Любовь и кровосмешение нежных чувств. Любовь, вне всяких сомнений, — самый парадоксальный феномен человеческой жизни. Как таковая она свободна и доступна нам в любой момент нашей жизни. Однако же она становится абсолютно неуловимой, стоит нам только попытаться овладеть ею насильно в слепой надежде пережить-таки даруемые любовью чувства¹. И даже смерть, — другой трагический и не менее загадочный экзистенциальный феномен, — вполне заслуженно вызывающая в людях чувство панического трепета, не вправе оспаривать первенство любви в запутанной веренице противоречивых влияний, которые последняя вольна оказывать на человеческую жизнь. В конце концов, согласно популярным сюжетам античной мифологии, великому гордецу и хитрецу — коринфскому царю Сизифу — все же удалось, пусть и обманным способом, похитить свою собственную смерть, в то время как никто из смертных (как, впрочем, и ни один из всех известных нам богов) не может похвастать тем же самым, лишь только речь заходит о любви².

Оглядываясь назад, нетрудно убедиться, что все известные попытки сделать любовь покорным предметом философской аналитики на практике оказались не столь успешны. Вместо того чтобы пролить свет на природу этого загадочного феномена, немногочисленные и крайне робкие попытки философов рассказать нам о любви, напротив, набросили мрачную тень на все связываемые с нею экзистенциальные переживания. Острое лезвие философского анализа обычно не касалось в этом феномене ничего действительно достойного внимания. И довольно скоро большинство философов потеряло к любви всякий интерес, переключившись на более податливые и простые объекты экзистенциальных

переживаний, торжественно заявив нам, что, быть может, и вовсе нет никакой любви, ибо все смутные свидетельства на сей счет всего лишь обычные шалости рефлексии либо затейливая игра нашего воображения. Однако же люди, поколение за поколением, сгорали в огне любовных переживаний³. Поэтому, вопреки моральной трусости и интеллектуальному дезертирству большинства философов, нам все же следует попробовать разобраться с тем, (1) что есть такое любовь и (2) что же именно мы испытываем, когда переживаем это загадочное и парадоксальное чувство.

Античная философская традиция оставила нам в наследство довольно скудные описания набора экзистенциальных переживаний, подобных различным видам любовного томления. Типологически здесь было принято выделять четыре разновидности наиболее распространенных в мире людей любовных чувствований: *ἔρως* (эротическая любовь), *φιλία* (дружеская любовь), *στοργή* (любовь, основанная на чувстве кровного или семейного родства), *ἀγάπη* (бескорыстная любовь к человечеству)⁴.

Современная философская традиция старается быть более осторожной и экономной на слова в своем анализе такого, как кажется, невероятно многоликого, неуловимого и изменчивого чувства любви, предпочитая задаваться вопросами не о природе самого этого чувства, а скорее желая разобраться и понять, почему же мы, внезапно потеряв свой сон и покой, так безнадежно в него погружаемся. Иными словами, она предпочитает говорить не о любви как таковой, а прежде всего о тех вероятных причинах и обстоятельствах, которые вызывают ее в нашем сердце. Наиболее популярными философскими доктринами здесь, вне сомнений, являются различные атрибутивные, реляционные и нормативные теории любовного чувства.

Атрибутивные теории [например, см.: 14–16; также см.: 17, 18] настаивают на том, что мы любим тех, кого любим, не просто так, а мы любим их за некоторые черты и качества, которыми они в наших глазах (заслуженно или пусть даже абсолютно неоправданно) обладают. Согласно этим теориям,

банальная фраза «любить того-то» на самом деле является обычной фразой-дескриптором, в которой мы за именем своего любимого прячем набор неких положительно⁵ оцениваемых нами атрибутивных свойств, осмысленно приписываемых объекту нашей любви. Например, в самом простом виде такие теории утверждают, что невинная с виду фраза «я люблю Еву» (допустим, что я признаю себя влюбленным в девушку с таким именем) означает не что иное, как признание в том, что «Ева является для меня привлекательной». Иными словами, я люблю эту девушку Еву, потому что она кажется мне (или даже не только мне, а также и многим другим) привлекательной в том или ином отношении, неважно в каком именно, поскольку она вполне может быть для меня привлекательна только сексуально, или своими человеческими качествами, или и тем и другим вместе взятым, или же чем-либо еще ценным в моих глазах, обладая тем самым каким-то таким особым свойством или свойствами, которые и делают ее для меня столь привлекательной, что в ее присутствии меня охватывает неодолимое любовное чувство. В этом смысле вполне уместным ответом на вопрос (1) для таких теорий станет лаконичное или же пространное, приличное либо не очень описание черт и качеств самой этой девушки Евы. Ответом же на вопрос (2) могла бы послужить ссылка на перечень различных эмоциональных состояний, которые я испытываю в ее присутствии и о которых я в состоянии дать себе отчет [например, см.: 14, р. 153–154; ср. с этим: 20, р. 483]. Однако ни сами эти чувства, ни составленный из них «букет» не будут здесь чем-то выдающимся и исключительным, ибо все эти эмоциональные состояния (подобные тем, что рождает во мне девушка Ева) я вполне могу пережить и с другими девушками, привлекательность которых окажется достаточна для того, чтобы меня в них влюбить.

Реляционные теории [например, см.: 8, 19] видят источники наших любовных переживаний в самих межличностных отношениях, которые нас связывают либо случайно, либо нет с конкретными близкими нам людьми. Любовь в таких теориях является эквивалентом эмоциональных инвестиций, которые мы вносим в наши отношения с этими людьми. Согласно реляционным теориям, отношения определенных типов (например, отношения родителей с детьми, семейные отношения с братьями, сестрами, женами и мужьями) представляют собой самостоятельную (nonderivatively) ценность и вполне способны служить нам независимыми источниками любовных переживаний [8, р. 147–150]. Любые (даже самые привлекательные) атрибутивные свойства близких нам людей не могут быть уместными причинами, способными нам объяснить факты наличия или отсутствия в наших сердцах любовных переживаний. Подлинными оправданиями наших любовных чувств к другим людям служат сами отношения, история формирования которых и делает некоторых вполне конкретных людей столь близкими нам⁶ [ср. с этим: 8, р. 147–148, 154–155, 171–172; также см.: 19, р. 231, 233–234]. Подобная абсолютизация реляционных отношений в действительности означает, что никакая особая забота о конкретной девушке из плоти и крови по имени Ева, несмотря на все сжигающие меня изнутри при одном только ее виде страсти, не является проявлением реальных любовных чувств с моей стороны, если нет уверенности в том, что существующие между нами отношения делают эти чувства уместными (appropriate),

равно как отсутствие любовных переживаний, по мнению сторонников таких теорий, оказывается совершенно неуместным (inappropriate) и даже непростительным обстоятельством, когда, напротив, между нами существуют отношения, которые этого требуют [например, см.: 8, р. 146–147]. Иными словами, уместным и полезным здесь считается любить своих законных жен, а вовсе не случайных сексуальных партнеров. Поэтому все наши страстные привязанности к любым малознакомым или же вовсе незнакомым лицам противоположного пола являются не только неудобными и аморальными примерами любовных историй реальных людей, но и абсолютно необъяснимыми, почти мистическими фактами нашей чувственности⁷. Тем самым единственным приемлемым ответом на вопрос (1) для таких теорий может стать лишь ссылка на актуальный реляционный статус, которым наделена в моей жизни эта вполне конкретная девушка из плоти и крови по имени Ева. Например, для меня достаточным будет при ответе на кажущийся столь простым вопрос «Почему я люблю Еву?» пробормотать что-то вроде фразы «Потому что она — моя жена...». Искать же здесь ответ на вопрос (2) довольно бессмысленное предприятие, ибо, будучи влюбленным, на самом деле, в своем сердце я ничего такого особенного и не переживаю. Ведь, согласно реляционным теориям, мое страстно любящее сердце всего лишь обычный заложник моей же собственной памяти, тех воспоминаний, которые формируют историю моих отношений с той конкретной девушкой Евой, которую в силу связавших нас обстоятельств (например, матримониального характера) мне по чину полагается любить.

Нормативные теории [например, см.: 21] уходят своими концептуальными корнями в метафизику морали Иммануила Канта и, прежде всего, его довольно наивное учение о *Liebe des Wohlwollens* — доброжелательной партнерской любви [22, р. 180; также см.: 23, р. 586–588]. Любовь для таких теорий — это обычная нормативно определенная форма действий людей по отношению друг к другу. Одолевающая же наши сердца буря любовных чувств рассматривается здесь скорее как приятная или неприятная (в зависимости от типа доминирующих в этих чувствах эмоциональных состояний, например — нежности или ревности), но все же сугубо дополнительная функция добровольно принятых на себя людьми моральных обязательств в отношении друг друга. Любовные чувства, согласно нормативным теориям, просто-напросто возникают в процессе взаимной заботы, которую проявляют в своих действиях люди, вступившие в близкие отношения [ср. с этим: 23, р. 596, 598]. Не сами эти дикие чувства, а именно нормативные действия в отношении любимого нами человека являются природной характеристикой такого, казалось бы, с виду темного в своих основаниях экзистенциального феномена, как любовь. Конститутивное значение нормативной структуры любовного действия требует без колебаний принимать в качестве любящих любого из нас, кто хоть и не испытывает подобных чувств (или же, продолжая оставаться в отношениях с другим человеком, испытывает их не так остро, как прежде), но кто, тем не менее, готов совершать поступки, свидетельствующие о проявлении чувства нежной заботы о своем партнере, а иногда и открыто преследующие цель воскресить остывшие или полностью утраченные любовные переживания⁸. Ответ на вопрос (1) для таких теорий будет зависеть толь-

ко от того, как именно я себя веду по отношению к своей партнерше (например, к уже известной нам девушке Еве), насколько внимательно я к ней отношусь и какова та мера заботы, которой я ее окружил. По мнению сторонников нормативных теорий, независимо от своих чувств я имею полное право произнести лукавую фразу «Я люблю Еву», если и только если она не имеет оснований жаловаться на мои действия. Искать же ответ на вопрос (2) и вовсе не имеет никакого смысла, поскольку в любом случае право на любовь гарантируется мне самими действиями в отношении девушки Евы, а вовсе не теми интимными переживаниями, которые я при этом испытываю⁹. Нормы любви здесь таковы, что независимо от обстоятельств позволяют мне наслаждаться или, напротив, тяготиться присутствием этой девушки в моей жизни, оставляя все подобные вопросы без дальнейшего рассмотрения.

2. Признание [в] любви? Привычный пессимизм в вопросах познания такого парадоксального экзистенциального феномена, как любовь, прочно воцарившийся в головах философов, кажется, может быть серьёзно поколеблен в самих своих основаниях благодаря рождению в XX веке самого, пожалуй, страшного и уродливого проявления человеческого рассудка — лингвистической философии. Вполне возможно, что именно такая пытливая до слов и их значений разновидность философского анализа, способна устоять перед чарами любви, и продвинуться намного дальше, нежели прежняя традиционная метафизика, в поисках долгожданных ответов на эти продолжающие мучить человечество вопросы.

Оттолкнемся же мы от невинного с виду вопроса, которым вправе задаться каждый, кто когда-либо переживал даруемые этим феноменом чувства. Находясь в полном смятении по поводу неведомых, но в то же время острых и болезненных переживаний, каждый из нас вправе спросить себя: да что же такое со мной происходит? Возможным ответом на такой вопрос вполне могло бы стать восклицание «Я знаю, что люблю!», в котором переживающий любовное томление человек открывал бы для себя это новое загадочное чувство. Чтобы разобраться с тем, каковы для нас возможные значения этой фразы, представим несколько вероятных сценариев речевых действий, в которых акты произнесения фразы «Я знаю, что люблю!» и сами ссылки на переживаемое нами любовное чувство были бы уместны и осмысленны¹⁰.

Сценарий А:

(А₁) Предположим, что я люблю некую реальную существующую девушку по имени Ева. Фраза «Я люблю Еву» казалась бы мне тогда вполне осмысленной и однозначной. Она значила бы ровно то, что в ней и было сказано — некоторую жизненную ситуацию, где существует девушка из плоти и крови по имени Ева, которую я люблю. Кажущаяся очевидность значения фразы «Я люблю Еву», однако, не снимала бы все возможные вопросы о том, что именно означает моё слово *люблю*, высказанное в отношении этой реальной девушки. Самым простым ответом на эти вопросы могло бы стать указание на то, что моё слово *люблю* просто-напросто означает любить *такую-то и такую-то*. Иными словами, любить означает — любить реальную девушку из плоти и крови, которая обладает некими вполне конкретными чертами и качествами. Если мы допускаем, что в мое понятие любви необходимо вкладывать значение, согласно кото-

рому любить для меня значит *любить такую-то и такую-то*, мы тем самым просто утверждаем, что девушка Ева именно та самая, которая как раз и является такой-то и такой-то девушкой, а стало быть, вовсе не удивительно, что именно я ее люблю. Более того, нам кажется вполне удовлетворительным в ответ на вопрос «Почему ты любишь Еву?» сказать что-то, наподобие «Я люблю Еву, потому что она — такая-то и такая-то»¹¹. Иными словами, дать лаконичное или же пространный, приличное либо не очень, описание вполне конкретных черт и качеств любимой мною реальной девушки из плоти и крови по имени Ева.

(А₂) Подобный сценарий осмысленного речевого поведения влюбленного кажется нам вполне уместным и даже в некотором смысле единственно возможным. Однако что произойдет, если я сам задам себе довольно простой с виду вопрос «Действительно ли я люблю Еву?». На первый взгляд, этот вопрос кажется столь же осмысленным, как и вопрос «Почему ты любишь Еву?». Однако если я наивно полагаю, что для меня любить — означает любить какую-то вполне определенную девушку (например, такую-то и такую-то), я рискую столкнуться в своем ответе на этот вопрос с совершеннейшей бессмыслицей и абсурдом. Если бы слово *люблю* означало бы *любить такую-то и такую-то* и было бы простой функцией, связывающей два разных знака — *такая-то и такая-то* и *Ева* — во фразе «Я люблю Еву», было бы несложно заменить одну часть этой фразы другой и, казалось бы, эта новая образованная мною фраза не была бы ложной и не вела бы к потере изначального смысла. Иными словами, если бы фраза «Я люблю Еву» значила бы одно и то же, что и фраза «Я люблю такую-то и такую-то», пользуясь этим обстоятельством, я без труда мог бы образовать очевидную тавтологию «Такая-то и такая-то есть такая-то и такая-то», или, прибегая в своей речи к именам собственным, я мог бы сказать «Ева есть Ева». Казалось бы, сама по себе возможность подобных тавтологических фраз не представляет для моих любовных чувств никакой угрозы. Но это только на первый взгляд, в действительности — всё совсем не так. В моём собственном, обращенном к себе же самому вопросе «Действительно ли я люблю Еву?», слово *люблю* не может означать *любить такую-то и такую-то*, поскольку в противном случае я буду обязан считать осмысленным такой очевидно абсурдный вопрос, как «Действительно ли Ева является Евой?», наивно полагая, что именно об этом я сам себя спрашиваю, когда задаюсь вопросом «Действительно ли я люблю Еву?». Однако же для меня совершенно очевидно, что, спрашивая себя «Действительно ли я люблю Еву?», я вовсе не желаю в качестве ответа на этот вопрос получить завуалированную в синонимичных словах абсурдную тавтологию, а желаю узнать что-то мне не известное о том чувстве, которое я испытываю к реальной девушке из плоти и крови по имени Ева. Это значит, что, рассматривая мучащие меня загадочные чувства и воскликнув «Я знаю, что люблю!», я вовсе не спрашиваю о том, что именно я люблю, а хочу узнать что-то о самом своем чувстве.

Сценарий Б:

(Б₁) Некоторые циничные критики вполне вероятно заметили бы, что спрашивая себя «Действительно ли я люблю Еву?», я на самом деле не спрашиваю о том, что же именно столь мило моёму любящему сердцу в этой реальной девушке из плоти и крови по имени Ева. Моё слово *люблю*

означает здесь не любить *[такую-то и такую-то]*, а имеет непосредственное отношение к самому имени *[Ева]*, принадлежащему этой девушке. Иными словами, я вовсе не задаюсь вопросом о совокупности тех конкретных свойств, которыми она обладает, а спрашиваю лишь о том, что пусть даже я и люблю Еву по причине именно этих черт и качеств, действительно ли она ими обладает? Возможно, моё влюбленное сердце слепо и не рисует мне образ моей любимой в её истинном свете. А это значит, спрашивая себя «Действительно ли я люблю Еву?», я просто-напросто высказываю некое закравшееся в моё любящее сердце сомнение в подлинности моего чувства к ней. Тогда уместным ответом на этот вопрос могло бы стать всё то же лаконичное или же пространное, приличное либо не очень, описание вполне конкретных черт и качеств любимой мною реальной девушки из плоти и крови по имени Ева. Например, я мог бы довольно сдержанно сказать, что «Ева — необычайно привлекательна; она — красива, умна, добра и просто чистый ангел во плоти, и поэтому я ничуть не сомневаюсь в том, что я её люблю всем своим сердцем». Такой мой ответ основывался бы на апелляции к здравому смыслу и подразумевал бы, что связанные с моими любовными переживаниями эмоции обязательно должны включать в себя также и очевидные убеждения относительно самих черт и качеств этой реальной девушки из плоти и крови по имени Ева¹². Ведь если фраза «Я действительно люблю Еву» означает для меня, что «Ева — необычайно привлекательна», то в моем распоряжении также имеются и некоторые вполне определенные убеждения относительно того, что она обладает именно теми чертами и качествами, которые делают её для моего любящего сердца столь привлекательной и неотразимой.

(Б₂) Но так ли это на самом деле? Могу ли я представить себе ситуацию, в которой фраза «Я действительно люблю Еву» означала бы нечто иное, нежели «Ева — необычайно привлекательна»? Например, выражала бы некое интимное знание того страстного чувства, которое я испытываю к ней независимо от самих черт и качеств этой реальной девушки из плоти и крови по имени Ева? А стало быть, в моем речевом поведении слово *[люблю]* в действительности означало бы *[люблю Еву и никого иного]*. На самом деле такую ситуацию вообразить довольно легко. Представим, что на одной из вечеринок некто как бы невзначай спрашивает меня о том, люблю ли я кого-нибудь из присутствующих здесь? Представим также, так случилось, что на этой вечеринке я оказался вместе с той самой реальной девушкой из плоти и крови по имени Ева, которую я действительно страстно люблю. Допустим, в ответ на этот довольно бестактный вопрос моего случайного собеседника, я откровенно признаюсь ему в том, что «я люблю Еву». Согласитесь, было бы довольно странным получить в ответ на такой простой вопрос «Кого ты любишь?» лаконичное или же пространное, приличное либо не очень, описание черт и качеств реальной девушки из плоти и крови, вместо обычного её имени. На недоуменный взгляд моего собеседника, которому это имя, вполне возможно, ничего не говорит, либо, наоборот, говорит слишком многое, — взглядом, очевидным образом выражающего вопрос «Почему?», я начинаю описывать эту реальную девушку из плоти и крови по имени Ева, говоря массу замечательных слов о том, как она очаровательна,

прелестна и хороша собой. Предположим, что мой случайный собеседник оказался намного более информированным человеком, чем я сам, и в ответ на мои слова любви, он знакомит меня с некоторыми известными ему фактами (представим также для простоты, что мой собеседник — идеальный говорящий, а стало быть, никогда в своих речах не лжет, даже без всякого видимого на то злого умысла), — фактами реальной биографии этой девушки Евы, показывая мне, насколько же глубоко я ошибаюсь в своих описаниях столь страстно любимого мною человека. Например, он говорит мне, что Ева на самом деле вовсе не так очаровательна, прелестна и добра, как мне кажется. Напротив, она — ужасна и очень порочна, ибо водит дружбу со Змеем или даже самим Сатаной. Должна ли такая шокирующая правда означать для меня, что любовное чувство, испытываемое мною к этой реальной девушке Еве, бесследно исчезнет, либо взамен этому чувству придет противоположное? В случаях если слово *[люблю]* на самом деле означает для меня *[люблю Еву и никого иного]*, ответ на этот вопрос вполне очевиден. Разумеется, я могу отказаться от всех сказанных мною слов любви относительно того, какая моя любимая девушка прелестная и чудесная, однако, вне сомнений, я откажусь счастье саму фразу «Я люблю Еву» ложной, поскольку в действительности эта фраза обращается к переживаемым моим сердцем любовным чувствам, а вовсе не к тем описаниям (истинным или ложным), которые я или кто-либо другой могли бы дать этой реальной девушке из плоти и крови по имени Ева¹³. Я действительно люблю её. Я знаю это абсолютно точно и не могу в этом ошибаться¹⁴, хотя вполне могу заблуждаться относительно тех описаний, которые этому охватившему меня страстному чувству я мог бы дать¹⁵.

Какие же именно выводы мы могли бы сделать, рассматривая такие абсолютно разные сценарии речевых действий, каждый из которых оказывается каким-то образом тесно связан с загадочным экзистенциальным феноменом любви? Оба эти сценария речевых действий делают для нас очевидным, прежде всего, что такая невинная с виду фраза, как «Я знаю, что люблю!», в каждом акте своего реального произнесения таит непреодолимую семантическую двусмысленность. В одних случаях (А₂ и Б₂) она отсылает нас к знанию о том страстном чувстве неопишуемого восторга, который меня охватывает в присутствии объекта моей любви — реальной девушки из плоти и крови по имени Ева, в других же (А₁ и Б₁) — к романтическому чувству восхищения ее совершенством, которое я мог бы попытаться выразить словами, описывая, что именно меня так в ней пленяет и делает ее столько привлекательным объектом для проявления моего любовного чувства. Вполне очевидно, что здесь мы имеем дело с двумя совершенно разными по своей природе любовными чувствами: страстным желанием (*Ῥάθος*), имеющим своим объектом конкретную девушку из плоти и крови по имени Ева, и романтическим очарованием (*Romance*) от созерцания её реальных или только воображаемых совершенств. Это две совершенно разных любви — патическая (страстная, основанная на нашей чувственности), которая из всех слов любви знает, по-видимому, одни только имена собственные, и романтическая (очаровывающая, вдохновляемая нашим воображением), питающаяся красочными и яркими описаниями событий той любовной драмы, в которую мы так или иначе

оказываемся вовлечены. В подлинной природе этих двух семантически нетождественных любовных переживаний нам и предстоит теперь разобраться поподробнее. А для этого нам потребуется ответить на такой с виду незатейливый вопрос: являются ли любовные переживания естественно (эмпирически) возможными и открытыми для нашего реального жизненного опыта? Или же наши красочные описания любовных чувств всего лишь фиктивные рассказы о том, как это всё могло бы происходить с нами, если бы нам на самом деле довелось влюбиться в реальную девушку из плоти и крови? Кажется интуитивно очевидным, что многое здесь будет зависеть от того, о каком именно чувстве любви мы намерены вести речь. И это есть тот самый случай, когда интуиция нас не подводит.

3. *Páθος* versus Romance. Многим искусственным в любовных отношениях людям может показаться, что моя немногословность в речевых ситуациях A_2 и B_2 , столь резко контрастирующая с обилием слов любви в речевых ситуациях A_1 и B_1 , в действительности вызвана неискренностью и незрелостью моего чувства любви к этой вполне реальной девушке Еве. Охватившая меня страсть, лишившая меня дара речи, просто-напросто обычная сексуальная озабоченность чужими женскими прелестями, случайно оказавшейся рядом со мной девушки. Настоящее зрелое любовное чувство явно способно на большее. Если оно и не может вдохновлять меня написание циклопических любовных поэм (сродни тем, что Петрарка посвящал Лауре), такое чувство просто обязано дать мне богатую пищу для размышлений, а стало быть, оно без труда должно найти свое выражение в некотором связанном повествовании, объясняющем мне самому, а также и многим другим, что же именно я чувствую на самом деле при виде своей любимой девушки Евы. Тот факт, что я, полностью подавленный охватившими меня любовными переживаниями, оказываюсь не в состоянии выговорить ничего, кроме имени моей любимой, явным образом свидетельствует против меня, против подлинности моего любовного чувства к той самой единственной реальной девушке из плоти и крови по имени Ева, которую по своему же собственному признанию я так страстно желаю.

Очевидно, что свойственное романтическим чувствам словоблудие отнюдь не случайный и причудливый эпифеномен необузданных любовных переживаний. Яркие повествования об этих чувствах имеют вполне очевидные цели и источники своего происхождения. Строительными блоками для них обычно служат фрагменты публичного дискурса, повествующего нам о любовных переживаниях, томно рассказывающего как именно нам надлежит переживать подобные чувства. Составленное из таких узнаваемых всеми речевых шаблонов наше личное повествование фиксирует феномен романтической любви для воображения как историю собственных интимных переживаний, — удобный вымышленный центр нарративной гравитации, который способен служить надежным руководством для наших поступков и при необходимости брать на себя бремя ответственности за них [ср. с этим: 27]. Не любовное чувство здесь диктует собственную историю, а наоборот, повествование о любви активно цензурирует нашу чувственность¹⁶. Романтическая любовь, таким образом, это лишь продукт, а не истинная причина наших переживаний. Благодаря нарративизации она становится удобной в об-

ращении и фиктивной инстанцией, которой могут быть осмысленным и непротиворечивым образом приписаны одолевающие нас желания, убеждения, действия, равно как и моральная ответственность за них. Повествования о любовных чувствах позволяют нам обзавестись твердыми убеждениями о своих собственных любовных желаниях. Такие повествования действительно дисциплинируют нас, ограничивая всевластие любовного чувства, ибо содержат в себе очевидные каузальные эффекты в отношении любовных переживаний. Дисциплинарная власть любого повествования выражается в появлении способности давать самим себе отчет в собственных желаниях, одновременно с этим наделяя нас правом их контролировать и при необходимости пересматривать. Именно поэтому благодаря романтической нарративизации любовные желания перестают быть дикими, некорректируемыми и цензурируемыми чувственными данностями, поскольку в своих повествованиях о любви мы получаем право и способность осуществлять контроль над поступками, инспирируемыми этими желаниями. Романтическое чувство любви приобретает здесь очевидное моральное измерение. Ведь я могу быть ответственным за свое действие только и если только мне доступно описание этого действия¹⁷, и лишь благодаря имеющемуся в моем распоряжении повествованию, я способен оценивать мотивы своих собственных действий. Возможность говорить и рассуждать о мотивах моих поступков позволяет мне либо убедить себя в их необходимости, либо напротив, убедить себя в том, что мне следует воздержаться от их совершения. Эта способность, которой меня наделяет повествование о своем любовном чувстве, позволяет не только желать что-либо в отношении объекта моих любовных переживаний, но и цензурировать свои желания. Некогда дикое и мучительное для моего сердца любовное желание уже не является для меня непреодолимой чувственной силой¹⁸, а становится частью цензурируемых моральной ответственностью дискурсивных практик. Поглощаемый романтическим дискурсом экзистенциальный феномен любви перестает быть приватным и интимным вопросом чувственности, превращаясь в сугубо публичное дело¹⁹. Романтическая любовь, как таковая, никогда не бывает тождественна испытываемым мною конкретным любовным переживаниям, и поэтому без особого труда может быть перенесена с одного объекта на другой. Любовь здесь только область воображения, а не чувств, она — вымысел, но вымысел очень удобный и для меня, и для других. Воспеваемые романтическими любовными повествованиями переживания на деле оказываются обычными нарративными фикциями, подлинность которых для нашей чувственности должна быть абсолютно иллюзорна. Чтобы это наглядно показать, следует использовать ряд нехитрых контраргументов, каждый из которых служит непреодолимым препятствием желанию языка присвоить и подчинить себе наши подлинные любовные переживания.

Первый контраргумент против подлинности чувства романтической любви рассматривает повествования об «отсутствующих» любовных переживаниях. Представим, что лично я наделен богатым спектром любовных переживаний, связываемых мною с фигурой вполне конкретной девушки из плоти и крови по имени Ева. Я радуюсь ее успехам, забочусь о ее благополучии, смеюсь над ее неуклюжими шутками, подтруниваю над ее забавной

неаккуратностью, злостью, когда не вижу в ее глазах эмоционального отклика. В общем, веду себя в ее присутствии как типичный влюбленный мужчина. При желании и необходимости я мог бы поведать яркую историю своей любви к этой реальной девушке Еве. Однако можно ли с уверенностью сказать, что всё столь красочно описываемое мною действительно является реальным фактом моих любовных переживаний? На первый взгляд, нам кажется, что рассказов о любви вполне достаточно, чтобы судить о фактах моих любовных переживаний. Но можно ли с полной уверенностью судить об этом? Чтобы ответить на этот вопрос, нам потребуется представить также, что наряду с моим реальным миром есть другой воображаемый мир, в котором живет мой допельгангер²⁰. В его мире есть такая же девушка Ева и он также, как и я, ведет себя в ее присутствии и способен нам рассказать не менее красочную историю своей любви к ней. Допустим (для простоты), что мои собственные любовные рассказы и рассказы моего допельгангера слово в слово совпадают, равным же образом его поступки в отношении девушки Евы в точности копируют мои собственные действия. Ни один наблюдатель со стороны не обнаружит здесь какое-либо различие между нами. Однако мы знаем, что в действительности оно есть. Различие между мной и моим допельгангером заключается в том, что он, в отличие от меня, *не ощущает* ничего похожего на то, что чувствую я, когда вижу столь страстно любимую моим сердцем реальную девушку из плоти и крови по имени Ева. Метафизическая возможность такого различия ясным образом демонстрирует нам, что человек, живо и красочно повествующий о своей любви, в действительности мог бы никогда не иметь подобных переживаний в реальном опыте своей жизни, даже невзирая на, казалось бы, очевидную каузальную влияние подобных повествований в отношении его собственных действий и поступков. Такой человек являлся бы типичным примером «влюбленного» зомби. Он просто был бы кем-то, кто лишь ведет себя как «влюбленный», и наше доверие к его мнимым (а на самом деле полностью отсутствующим) любовным переживаниям было бы основано лишь на нарративной связанности рассказываемых им красочных повествований о них. А это значит, что *рассказывать* о любви и действительно *любить* — не одно и то же; рассказы и ощущения не могут служить нам тождественными формами экзистенциальных переживаний²¹.

Второй контраргумент против подлинности чувства романтической любви обращается к повествованиям о «блекнувших» любовных переживаниях. Метафизически вполне вероятно, что между мною (переживающим страстное любовное чувство) и моим допельгангером (не ощущающим ничего подобного) должно существовать множество различных неустойчивых переходных состояний, в которых любовные чувства все же имеют место в том или ином виде, пусть даже они и переживаются не так интенсивно, как я их на самом деле переживаю при виде своей любимой девушки из плоти и крови по имени Ева. Представим, например, что в результате сильной черепно-мозговой травмы я постепенно теряю свою способность к интенсивным переживаниям. Там, где я прежде чувствовал острую невыносимую боль, я стал чувствовать вполне терпимый по своим ощущениям дискомфорт. При виде своей любимой девушки Евы, будучи

еще здоровым, я испытывал целый ураган любовных переживаний. Теперь же, после полученной травмы, я стал ощущать чуть более блеклый эмоциональный отклик на факты ее присутствия рядом со мной. Впрочем, самое худшее для меня было в том, что моя болезнь продолжала неумолимо прогрессировать и мои чувственные ощущения день ото дня теряли свою остроту, живость, яркость и интенсивность. Крайне мучительный вопрос в подобных обстоятельствах заключался бы в том, каково это будет находиться в таких печальных состояниях? Очевидно, что на начальных стадиях моей болезни я почти ничем не отличаюсь от себя прежнего. Едва увидев свою любимую девушку Еву, я продолжаю *говорить* о своих переживаниях ровно всё то, что и прежде, когда я был полностью здоров и неподдельная страсть к этой девушке сжигала мое сердце. Например, заметив улыбку на ее лице, я не могу удержаться от того, чтобы не улыбнуться ей в ответ. Я все еще продолжаю смеяться над её неуклюжими шутками, радоваться ее успехам. В общем, продолжаю себя вести в ее присутствии как типичный влюбленный мужчина. Неприятный и очень существенный для меня здесь момент, однако, состоит в том, что, получив черепно-мозговую травму, я постепенно начинаю систематически *ошибаться* относительно всего того, что я в действительности переживаю. Мои ощущения теряют яркость, но я, тем не менее, продолжаю *говорить*, что чувствую невероятную радость при виде улыбки моей любимой девушки Евы, хотя в действительности моё сердце переживает при этом едва заметный трепет. Если кто-то в этот момент спросит меня о моих чувствах к девушке Еве, я могу представить в ответ красочное повествование о своих якобы ярких любовных переживаниях, в котором будут представлены все возможные оттенки и тональности романтических чувств. Несмотря на это красочное повествование о моих «блекнувших» любовных переживаниях, я незаметно (и для других, и для себя самого) превращаюсь в допельгангера, становясь очередным примером «влюбленного» зомби — существа, которое каким-то непостижимым образом может имитировать поведение, никак не соответствующее его подлинным переживаниям. Если бы каждое из влюбленных сердец, благодаря рассказам о любовных чувствах, так абсурдно могло бы быть оторвано от своих подлинных переживаний, это означало бы, что все испытываемые нами любовные страсти никак не связаны с нашей чувственностью. Однако нет никаких серьезных оснований полагать, что любовь является настолько аномальным для чувственности экзистенциальным феноменом, напротив, есть все необходимые основания считать иначе.

Контраргументы «отсутствующих» и «блекнувших» любовных переживаний с очевидностью показывают нам, что так называемые «любовные муки» для романтических чувств являются не более чем яркими и красочными описаниями, которые, как таковые, никак не зависят от подлинного характера самих переживаемых нами ощущений, а подчиняются дискурсивно выраженным убеждениям относительно ожидаемых поведенческих стереотипов, обычно связываемых с подобного рода переживаниями²² [ср. с этим: 32, р. 102; также см: 33]. Абсурдность романтических чувств заключается в том, что нет никакой возможности *ощутить*, каково это быть «влюбленным» зомби (несмотря на то, что это не так сложно *вообразить*). Однако

если «влюбленный» зомби все же представляет собой очевидную метафизическую возможность, мы имеем полное право спросить, что именно отличает подлинные любовные чувства от простого множества событий, которые каким-то причудливым образом просто-напросто имитируют любовь?

Чтобы ответить на этот каверзный вопрос, необходимо вернуться к речевым ситуациям A_2 и B_2 . Возможно, внезапная потеря мною «дара речи» в таких простых обстоятельствах, когда я решительным образом не способен сообщить себе и окружающим что-либо вразумительное о терзающих меня переживаниях, кроме имени своей любимой и банальной фразы «Я её люблю», свидетельствует нам не о неискренности или незрелости моего любовного чувства к реальной девушке из плоти и крови по имени Ева, а напротив, прямо «говорит» об обратном. Но как это возможно и почему это случается?

Анализ речевых ситуаций A_1 и B_1 очевидным образом показал нам, что факт существования романтической любви находится во власти любовного дискурса и всецело зависит от возможностей повествования о ней. Если наше повествование о романтических любовных чувствах является связанным, последовательным и непротиворечивым описанием наших переживаний, мы склонны доверять своим убеждениям, оправдываемым таким повествованием. Если же оно оказывается фрагментарным, непоследовательным и противоречивым, мы отказываемся верить своим чувствам и отрицаем сам факт существования подлинных любовных переживаний. Мы именуем эти наши состояния «похотью», «одержимостью», «увлеченностью», но отказываемся принимать их в таком возвышенном качестве, как любовь. Убежденный романтик хоть и признает, что любовь, как таковая, удовлетворяет очень разным приватным образцам восприятий, эмоций, желаний и действий, тем не менее, настаивает на том, что все они обязаны публично раскрывать себя в повествовании. Такое требование не кажется ему бессмысленным и бесполезным. Напротив, многообразие и пестрота приватно переживаемых любовных чувств, как кажется, требует придать им связанность, собрать их воедино в повествовании так, чтобы они представляли некое устойчивое целое, а не были бы калейдоскопичным вихрем абсолютно неподвластных нам переживаний. Публично рассказывая о своих любовных чувствах, по мнению романтика, мы придаем истории этих приватных переживаний нарративную связанность. Именно нарративная связанность (когезия) публично фиксирует факт наличия *приватного* любовного чувства. Так и возникает искусная дискурсивная иллюзия, в которой простая когезия слов любви, выраженная в связанности, последовательности и непротиворечивости нашего повествования о своих любовных чувствах, вселяет в нас убежденность в собственных чувствах, уверенность в их достоверности.

Однако безмолвные страсти, в отличие от живописных и говорящих романтических чувств, вовсе не обязаны слепо следовать за любовным повествованием. Источник их подлинности совсем иной, нежели любой пусть даже самый яркий и красочный публичный рассказ о якобы переживаемых мною любовных чувствах. Приватные любовные страсти в своих проявлениях не имеют ничего общего с нарративной связанностью рассказов о романтических чувствах, они просто-напросто не могут

быть выражены ни одним публичным повествовательным шаблоном²³. Столь мучительные для нашего сердца любовные страсти содержат в себе много общего с феноменологией проявления боли. Именно эти неожиданные (а может быть, и совершенно неслучайные) чувственные аллюзии и придают полным страсти любовным переживаниям необъяснимую достоверность.

Боль, как известно, сугубо приватное чувство²⁴. Каждая наша боль — уникальна. И боль, как таковая, в тех случаях, когда мы действительно ее переживаем, не дает нам ни малейшего повода усомниться в себе. Мучаясь от настоящей боли, я не сомневаюсь в ней, я более чем убежден в достоверности моих ощущений. Боль служит нам удивительным примером экзистенциальных ситуаций, где между нашими убеждениями и чувствами не может быть никаких расхождений²⁵. Может показаться, что подобно другим ощущениям боль поддается описанию; мы можем публично рассказать о том, каково это — мучиться от невыносимой боли. Однако доступность нашей боли для описаний обманчива. Боль является таким ощущением, которому я могу лишь дать имя, но описать которое я абсолютно не способен²⁶. Любовные страсти недвусмысленным образом наследуют феноменологию проявлений боли. В патических любовных переживаниях мы никогда не найдем общие для многих и, следовательно, повторяющиеся и воспроизводимые черты, которые были бы способны сделать страстно любимую моим сердцем реальную девушку из плоти и крови доступной *описанию*. Напротив, испытывая страстные чувства, мы любим потому, что просто любимый нами человек есть то, чем он является, и в этом самом чувстве он не может быть чем-то иным, нежели то, что он есть²⁷. Приватность любовной страсти означает предельную примитивность конкретных черт любимого нами человека, которые мы не только не способны описать, но на которые мы точно даже не в состоянии каким-либо образом указать²⁸. Это объясняет почему, переживая страстные чувства, я не могу ничего рассказать о своей любимой реальной девушке из плоти и крови, кроме ее имени — «Ева»²⁹. *Имя* моей любимой всегда есть нечто более загадочное, чем любое самое красочное описание ее женских прелестей, и оно в любом случае является тем, что не получится определить никаким нарративным способом, — тем, о чем невозможно рассказать ни в одном повествовании. Именно в этом смысле можно говорить о том, что патическая любовь, как таковая, не имеет причин, которые мы могли бы публично поведать³⁰. Единственное, в чем публично мы можем здесь признаться, — это в факте наличия самого этого страстного чувства, и мы действительно иногда делаем это, когда выговариваем такие трудные³¹ для произнесения фразы, как «Я её люблю» и «Я люблю Еву». Именно поэтому в случаях патической любви (т.е. тех самых случаях, когда я действительно влюблен и в точности это знаю), в отношении собственных страстных чувств, я не могу сказать ничего, кроме как признаться в том, что они просто есть³². Эти страстные чувства мне очевидны, и для факта своего существования они не требуют никаких описаний, повествований или оправданий.

Итак, если мы всерьез принимаем такой крайне неделикатный и семантически интолерантный *différance*, как Ράθος и *Romance*, нам следует признать и тот факт, что в действительности за этими

словами скрываются два принципиально разных экзистенциальных феномена — любовь патическая и любовь романтическая. *Páθος* — это практический (эмансипирующий) модус любви, в котором любовное чувство действует через меня, но не от моего имени. Патическая любовь является своеобразным форматом моего практического действия³³ от третьего лица, и в таком виде она служит образцом заведомо аморальных действий³⁴, поскольку здесь я не могу осмысленно приписывать своему собственному «Я» ответственность за всё содеянное. Romance — это нарративный (дисциплинирующий) модус любви, имеющий своим основанием дискурсивный механизм, посредством которого я могу приписывать себе мысли, желания и поступки в форме рассказа от первого лица, от лица моего собственного «Я». Романтическая любовь, или любовный роман, является своеобразным форматом морального сознания, моим взглядом ниоткуда на то, чем именно «Я» являюсь и как я именно выгляжу в своем собственном любовном переживании; это — заинтересованная разновидность любви, ориентированная на меня и мое собственное положение в отношениях с моей любимой. Патическая же любовь, или страсть, является своеобразной *techniques de soi*, или способом присвоения себя, но лишь в косвенной возвратной форме, освоения себя как приватной самости, а не утверждения себя в публичной форме дискурсивного «Я»³⁵. Любить страстно — значит любить конкретного другого и никого иного, любить так, что ни одна постыдная разновидность личной заинтересованности не способна здесь себя проявить. Говоря о своих патических любовных переживаниях, мне не приходит в голову (а скорее просто оказывается бессмысленным) утверждать что-то наподобие фраз «так удобно мне», «так у нас принято» или «так будет лучше для всех». Патическая любовь как таковая, однако, не предполагает проявления тотального бескорыстия любящего сердца — и именно этим она отлична от простой и абсолютно бесстрастной благотворительности. Она лишь указывает нам, что любить со всей страстью можно лишь тогда, когда все действия страстно любящего сердца исходят из анонимно присваиваемых его личностью приватных интересов, которые ни в коей мере не могут быть отличны от собственных приватных интересов конкретного любимого им человека³⁶. Романтическая любовь есть в некотором смысле любовь прирученная, или «одомашненная». Это стало возможно благодаря языку; именно романтические нарративы стали подручным средством способным ее приручить. И в итоге любовь из дикого ощущения и сопряженного с ним действия стала вполне цивилизованным чувством, а точнее — приличным и благопристойным публичным рассказом об этом чувстве. Безудержная страсть уступила свое место основанной на простой симпатии привязанности, а сексуальность (понимаемая здесь скорее как поведенческая форма, как некий телесно воплощенный «темперамент», включающий в себя повадки, жесты и голосовые интонации, а не только — ноги, грудь и попу) была заменена привлекательностью; или, если говорить об эмоциональной составляющей любви, *неописуемый* восторг патических переживаний сменился *описываемым* восхищением романтических чувств.

4. Как [раз]любить [не]любимого? Обещания вечною блаженства и клятвы верности в любви составляют неотъемлемую часть мечтаний каждого

из нас, кто действительно влюблен. Поэтому мучительные для любящего сердца вопросы о том, существует ли в природе вечная любовь (the eternal love), и может ли одолевающее нас любовное чувство бесследно исчезнуть, конечно же, заслуживают отдельного рассмотрения. Обычно мы не особо сопротивляемся нашей способности влюбляться. Однако как нам следует относиться к другой противоположной способности разлюбливаться? Следует ли из факта доступности для наших сердец таких двух разных типов любовных переживаний, как патические и романтические чувства, какой-либо определенный вывод относительно их длительности и их возможности противостоять мертвящей повседневности?

Как кажется, сами свойства этих столь не схожих между собой любовных переживаний, позволяют нам найти ответ на этот вечно тревожащий влюбленных сердца вопрос.

Романтическая любовь — оценочное чувство. Испытывать романтические чувства означает проявлять внимание к привлекательным чертам и качествам объекта своей любви. Именно такое, казалось бы, лестное для объектов романтической любви обстоятельство делает подобные переживания крайне уязвимым чувством. Объект любви здесь не является абсолютно незаменимым источником наших романтических переживаний. Романтическая любовь, рассказывая красочные повествования о привлекательных свойствах объекта своих чувств, неизбежно превращает его лишь в один из многих элементов класса «привлекательных вещей», который, как таковой, сравним с любым другим элементом этого класса [ср. с этим: 20, р. 481]. Объект романтических чувств находится под постоянной угрозой со стороны других не менее привлекательных объектов, представляющих очевидные соблазны в удобных для нас обстоятельствах. Романтические отношения сродни торговле, когда, чтобы сохранить прежний накал угасающих любовных чувств, нам постоянно требуется играть на повышение цены подобных отношений, продолжая раздувать повествовательный «пузырь» пустых переживаний.

Патическая любовь безвозмездно дарует свои чувства объекту собственной страсти. Для моего страстно любящего сердца реальная девушка из плоти и крови по имени Ева ценна просто по причине наличия связываемых с ней любовных переживаний. Здесь нет никаких неподвластных моему любящему сердцу независимых причин в виде суммы её привлекательных свойств, и именно это обстоятельство делает мои подлинные страстные чувства к этой конкретной реальной девушке из плоти и крови по имени Ева абсолютно неуязвимыми³⁷. Вопрос «Почему ты любишь именно этого человека?» здесь не имеет никакого смысла, поскольку в ответ на него я мог бы лишь произнести что-то безнадежно тавтологичное вроде фразы «Я люблю, потому что я люблю», либо слова любви с именем своей любимой, в который раз признавшись и себе, и другим, что «Я люблю, потому что я люблю Еву». Любая подмена кем-либо другим реальной девушки из плоти и крови по имени Ева для моего страстно любящего сердца является бессмыслицей [ср. с этим: 8, р. 135; 17, р. 370; 39, р. 166].

Иными словами, [раз]любить [не]любимого довольно просто. Для этого достаточно испытывать к нему одни только романтические чувства. Став благодаря таким чувствам частью моей истории любовных переживаний, [не]любимый мной человек будет в моих собственных глазах всего лишь

подходящим и просто-напросто пополнит список приятных мне «вещей», в отношении которых я волен выбирать. Страстная любовь, напротив, находит себе выход лишь в чувствах неопишемого восторга, который мы испытываем при виде любимого нами человека. Неопишемого по той простой причине, что мы просто-напросто не в состоянии сказать, что же именно в этом страстно любимом нами человеке способно служить источником такого восторга. Для романтической любви утрата чувств — вполне обычное дело. Такая ситуация просто свидетельствует о конце очередной моей повести любви. Инвертированным любовным эмоциональным состоянием здесь является ненависть. Для патической же любви утрата страстных чувств невозможна. Единственной реальной угрозой этим мучительным чувствам может стать лишь естественное истощение самого любящего сердца, которое наступает как следствие колоссального эмоционального напряжения и невероятной интенсивности переполюющих его любовных переживаний. Любовь романтическая, как и любой нарратив, может быть рассказана и пересказана заново и заново, по-новому и даже с новыми людьми. Любовь же патическая — как *та самая боль* Людвига Витгенштейна³⁸, почувствовав которую однажды и даже единожды, ее уже нельзя расчувствовать никогда.

Примечания

¹Яркое описание неустрашимой парадоксальности любовных переплетений между людьми и связанных с ними чувственных переживаний можно найти в работах Жана-Поля Сартра. В частности, в «*Notebooks for an Ethics*» он делает свое знаменитое циничное, но откровенное признание: «... не бывает любви без садомазохистской диалектики соподчинения свобод [любящих сердец. — Прим. А. Н.]» [1, р. 414; ср. с этим также: 2, с. 385, 393–394, 412–413]. Такая парадоксальная диалектика любовных отношений коренится в самих трансцендентальных основаниях бытия каждого из нас как отдельной и, казалось бы, полностью суверенной личности. По мнению Жана-Поля Сартра, свободная субъектность человека (его личность и связанная с ней идентичность) признается таковой посредством опыта самого себя как фигуры, подверженной объективации со стороны взгляда другого [например, ср. с этим: 3, с. 52–55; также ср. с этим: 4, р. 405–406]. Взгляд другого переживается мной как аутентично открывающий мне то, кто и что я есть, как раскрывающий мою сущность, которая, как таковая, мне недоступна без этого объективирующего взгляда со стороны другого. Например, я могу оценивать себя самого как вполне привлекательного, но моя привлекательность, как таковая, сертифицируется не моим собственным суверенным взглядом на себя, а только таким взглядом, который отличен от моего собственного, — взглядом другого. Иными словами, как пишет Жан-Поль Сартр: «Мной владеет другой; взгляд другого формирует мое тело в его наготу, порождает его, ваяет его, производит таким, каково оно *есть*, видит его таким, каким я никогда не увижу. Другой хранит секрет — секрет того, чем я являюсь» [2, с. 380]. Подобная публичность (понимаемая здесь как изначальная доступность объективирующему взгляду другого) является необходимым условием существования моей собственной личности, но становится источником острой экзистенциальной тревоги, неизбежно примешиваемой ко всем нашим любовным переживаниям. Наглядным примером здесь может служить ревность (как одна из наиболее болезненных красок палитры доступных нам любовных переживаний), возникающая в тот момент, когда источник моей самооценки и идентичности полностью и окончательно смещается внутрь личности моей любимой, рождая во мне жгучее желание

и непреодолимое стремление получить тотальный контроль над ее свободой. В собственном чувстве ревности я парадоксальным образом утверждаю свое право в лице себя самого, как любящего, на исключительное внимание со стороны моей возлюбленной, некогда свободно ею самой мне предоставленное. В этой связи Ирэн Макмаллен, в частности, ядовито замечает: «Ревность... есть любовь, искаженная стремлением заставить свободу другого человека служить проекту завершения и совершенствования собственного чувства» [5, р. 104]. Казалось бы, моя ревность вполне оправдана самим фактом любви, поскольку «... каждый хочет, чтобы другой его любил... любить — значит хотеть быть любимым... желая, чтобы другой его любил, он хочет только, чтобы другой хотел, чтобы он его любил» [2, с. 391]. Однако, несмотря на сжигающее меня чувство ревности, я, тем не менее, должен мириться и с тем, что «... тот, кто хочет быть любимым, не желает порабощения любимого существа. <...> ...любящий не желает владеть любимым, как владеют вещью; он требует особого типа владения. Он хочет владеть свободой как свободой» [2, с. 382; ср. с этим: 6, р. 396]. Публичность основ существования моей личности сама устанавливает мне собственный предел в том, что лишь «... свобода другого есть основание моего бытия. ... я существую через свободу другого... она оформляет мое бытие и *делает меня бытием...*» [2, с. 382]. Любовная диалектика «бытия-в-паре-с-другим», таким образом, становится парадоксальной, как только мы понимаем, что: «Все, что нужно для меня, нужно и для другого. В то время как я пытаюсь освободиться от захвата со стороны другого, другой пытается освободиться от моего; в то время как я стремлюсь поработить другого, другой стремится поработить меня» [2, с. 379]. А для моего влюбленного сердца это значит, что то, в какой мере я влюблен в ту единственную, которая рождает во мне непреодолимую страсть, ровно настолько я пытаюсь и отрицать ее свободу, но поскольку я хочу быть любим ею, она должна быть свободна выбирать меня как своего возлюбленного. Иными словами, если она свободна, она избегает моей любви; если же нет, она не может меня любить [ср. с этим: 5, р. 104]. Такова, по мнению Жана-Поля Сартра, неумолимая и крайне мучительная парадоксальность феномена любви.

²Неодолимая сила любовного влечения, подчиняющая себе как смертных, так и богов, является, пожалуй, одной из наиболее ярких и заметных черт античной культуры и древнегреческой литературной традиции [например, см.: 7, с. 150–151].

³Очевидно, что мы способны любить не одних только людей, но и многие другие объекты: животных, вещи, учреждения, действия, абстрактные идеи и даже самых разных богов. Однако именно любовные чувства людей друг к другу и, прежде всего, проявления таких чувств между представителями и представительницами противоположных полов рассматриваются как эталонные примеры подобного рода экзистенциальных переживаний [ср. с этим: 8, р. 136–137]. Поэтому здесь мы не станем касаться вопросов об актуальных различиях в любовных чувствах, имеющих своими объектами различные неодушевленные вещи, абстрактные сущности, или даже нечеловеческие живые существа, а также оставим в стороне все вопросы о специфических проявлениях подобных чувств, поднимаемые и обсуждаемые различными квин-теориями, сосредоточив свое внимание лишь на той любовной драме, которая вот уже долгие тысячелетия разыгрывается в отношениях между мужчинами и женщинами [ср. с этим взглядом Дэвида Хамлина на любовь как «всеохватное» чувство («catholic» emotion): 9, р. 10–11; а также убеждение Ролана Барта в том, что любовь является универсальным чувством без пола: 10, с. 15].

⁴Иногда, наряду с этими четырьмя наиболее популярными видами любви, указывают также и некоторые другие. Например, такие ее малоизвестные разновидности, как *ἔτιβρεια* (похотливое вожделение), *μαρία* (одержимое влечение) или *λατρεία* (благоговейное поклонение) [подробнее см.: 11; также см.: 12, р. 7–8; 13].

²Необходимо сразу оговориться, в данном случае положительно оцениваемые нами атрибутивные свойства вовсе не обязаны быть положительными независимо от контекста разворачивающейся любовной драмы, т.е. являться примерами неких абсолютных общечеловеческих добродетелей (красоты, доброты, милоты, умноты и пр.). Поскольку в таком случае притязать на право быть любимой могла бы, наверное, одна только святая мать Тереза, что очевидным образом абсурдно. Напротив, реальная практика любовных переживаний показывает нам, что мы вполне способны любить любых самых разных людей, и даже тех из них, кто в действительности скорее порочен, нежели добродетелен, ибо на самом деле важным здесь оказывается лишь то, насколько такая порочность или добродетельность оказываются для нас соблазнительными в тех конкретных обстоятельствах, в которых мы находимся, когда любим этого человека [ср. с этим: 9, р. 13; также ср. с этим: 19, р. 219].

³Приписывая реляционным связям ответственность за возникающие в наших сердцах любовные чувства, Нико Колодны особым образом подчеркивает: «...причина любви между людьми заключена в их отношениях: дрящей истории, которая их объединяет» [8, р. 135–136; ср. с этим: 20, р. 487].

⁴Главная проблема реляционных теорий, впрочем, заключается отнюдь не в том, что на мне, как муже, лежит эмоциональная обязанность любить свою нынешнюю жену, а вовсе не каких-то там малознакомых мне сексуально привлекательных девушек, а прежде всего в том, что собственные постулаты таких теорий предписывают мне обязанность любить всех моих возможных жен *одинаково* [например, ср. с этим: 20, р. 488–489]. Это кажется абсурдным требованием, поскольку даже если мы и готовы согласиться с Нико Колодны [8, р. 147], например, в том, что, решив завести с законной женой второго/третьего/.../десятого ребенка, мы обязаны любить его так же сильно, как и нашего первенца, в случае с моими женами, каждая из которых является абсолютно другой, непохожей ни на кого личностью, логичное по своему виду признание в любви, вроде слов «Я люблю тебя так же страстно, как и свою бывшую», помимо очевидной бессмыслицы несет в себе вполне реальную угрозу моим отношениям с новой спутницей жизни [ср. с этим пронизательное замечание Эмили Рорти о том, что женщины обычно бывают крайне разочарованы фактом наличия подобного «любовного наследства» в биографии своего мужчины: 4, р. 402].

⁵Кила Эббельс-Дугган, например, честно признается, что в вопросах любви нам на самом деле важна лишь поведенческая реакция, проявляющая себя во всех тех случаях, когда мы ощущаем отсутствие или нехватку романтических чувств (a lack of romantic feelings), поскольку: «Тот, кто воспринимает это как повод (reason) искать альтернативных партнеров, более не относится к своему нынешнему партнеру с любовью. Но тот, кто видит это в качестве мотива для совершения действий, призванных восстановить эти чувства, вполне может быть любящим» [21, р. 143].

⁶Кристофер Арройо, в частности, прямо заявляет: «... доброжелательная любовь, строго говоря, является... желанием, а не... эмоцией» [23, р. 587]. Любое наше желание, как таковое, вовсе не обязано содержать в себе какие-либо конкретные эмоциональные переживания. Хотя оно и может сопровождаться их появлением, особенно в тех ситуациях, когда воображение при представлении объекта желания соединяется с тем чувством удовольствия, которое возникает от осознания возможности им обладать. Иными словами, наши желания действительно стимулируют появление эмоциональных переживаний, но только в тех случаях, когда действуя, мы ориентируемся на то удовольствие, которое обещает нам объект нашего желания. Подобным же образом, желая содействовать счастью и благополучию другого человека, мы вполне можем ощутить чувство неудовольствия, если так и не встретили объект достойный нашего желания [ср. с этим: 22, р. 178].

⁷Клайв Льюис делает, например, довольно примечательную ремарку относительно значимости языка для любовного чувства: «Конечно, язык не является непогрешимым руководством, однако, вкупе со всеми своими недостатками, он содержит в себе также и великое множество накопленного нами опыта и понимания» [24, р. 12].

⁸Чтобы заранее пресечь любые бесплодные споры о том, какой именно должна быть любимая мною девушка Ева, стоит сразу оговориться, что фразой [такая-то и такая-то] мы вовсе не пытаемся образовать некий вполне вероятный *ordo amoris possessiones* — нормативный порядок атрибутивных свойств объектов любви. Говоря о любимой мною девушке Еве, что «она — такая-то и такая-то», я просто указываю — какой именно она дана мне в моем собственном любовном чувстве. Иными словами, за фразой [такая-то и такая-то] на самом деле может скрываться все что угодно. Например, красивая, сексуальная, умная, забавная, голубоглазая, дикая, сердитая, скромная, распушенная, жестокая, нежная, ласковая, цветущая, грустная, деловая, и т.д.

⁹Наличие в любящем сердце подобных убеждений относительно объекта своей собственной страсти, по мнению некоторых исследователей, играет важную конститутивную роль для нашего любовного чувства. Габриэль Тэйлор считает, в частности, что именно такие убеждения позволяют нам установить строгое аналитическое различие между томлящими нас любовными переживаниями (love) и слепыми мимолетными увлечениями нашего сердца (infatuation), довольно тонко подмечая, что «... увлеченные *x* и любящие *x* могут иметь одинаковые желания (wants) в смысле стремлений к вещам одного и того же типа [интимным отношениям, общению и т.д. — Прим. А. Н.]. <...> Но... такие желания имеют разные основания... любовь требует определенных убеждений, а увлечение — нет» [14, р. 154; ср. с этим также: 9, р. 20]. И хотя приватная история наших собственных убеждений относительно объекта своей страсти вполне может казаться весьма запутанной и крайне туманной даже нам самим, тем не менее, существует очевидный класс убеждений, несовместимый ни с чем, что мы могли бы назвать любовью. Трудно (если вообще возможно) представить себе, например, что мое любящее сердце могло бы всерьез придерживаться убеждения в том, что любимая мною девушка Ева при близком общении невыносимо скучна.

¹⁰Дэвид Хамлин, например, не сомневается в том, что для действительно страстно влюбленного сердца вполне допустима ситуация, когда оно способно видеть объект своих переживаний «во многих отношениях отвратительным», признавая за ним «целый сонм плохих качеств, которые отнюдь не восполняются хорошими», но, тем не менее, продолжать испытывать яростные муки любви. Такое сердце в определенный момент может даже дойти до признания «абсолютно катастрофического характера» подобных любовных переживаний, чтобы затем попытаться отречься от них (равно как и от любого сознательного желания вернуть их в будущем), однако, и здесь, несмотря на все обстоятельства, оно способно таить в себе прежние страсти [9, р. 13; см. также: 19, р. 229].

¹¹Норман Малкольм открыто говорит о том, что я вправе здесь отказаться рассматривать что бы то ни было в качестве свидетельства того, что именно вот *это* мучащее мое сердце чувство не есть любовь [в частности, ср. с этим: 25, с. 86–90]. Узнав что-либо об объекте своей страсти такое, что напрямую противоречит моим собственным наблюдениям, я могу говорить о том, что прежде я обманывался относительно любимой мною реальной девушки из плоти и крови по имени Ева, однако я не могу сказать, что раньше я *ошибался* насчет своего чувства к ней. Рассматриваемый нами пример речевого поведения характеризует такие обстоятельства, находясь в которых в момент произнесения мною фразы «Я знаю, что люблю!», мне нет никакого смысла убеждать себя в верности моих собственных слов. Я знаю это совершенно точно (with absolute certainty). Здесь невозможно и дальше продолжать

убеждаться в том, что же это за чувство, и что даже если бы можно было убеждаться в нем и дальше, в любом случае, нельзя было бы найти лучших свидетельств, чем те, что уже сейчас имеются в моем распоряжении. Как воскликнула бы сам Людвиг Витгенштейн: «Если нужно продолжать убеждаться *здесь*, тогда вообще нельзя ни в чем убеждаться!». Иными словами, моя фраза «Я знаю, что люблю!» может здесь значить только то, что «невозможно убеждаться, что чувство, которое я сейчас переживаю, есть любовь, и что бы ни произошло, я не смогу назвать это свидетельством против того, что переживаемое мною чувство не является любовью».

¹⁵Парафразируя Эдмунда Гуссерля, мы имеем полное право здесь воскликнуть: «Любой данный мне в личных переживаниях объект, может и не быть тем, чем он мне в них представляется, однако никакое данное мне лично переживание никак не может быть чем-либо иным, отличным от переживаемого мною!» [ср. с этим: 26, s. 196 – 199].

¹⁶Эмили Рорти настаивает на том, что любовные муки и связанные с ними острые ощущения могут быть идентифицированы нами как соответствующие любовные чувства только благодаря повествованию [ср. с этим: 4, p. 401; 10, с. 81, 321].

¹⁷Элизабет Энском, например, открыто утверждает, что «... преднамеренный (intentional) характер действия нельзя утверждать без соответствующего описания, в котором оно оказывается преднамеренным, поскольку одно и то же действие может быть преднамеренным в одном описании и непреднамеренным в другом» [28, p. 28]. Иными словами, именно речи влюбленного, а не испытываемые им любовные чувства, налагают на его поступки моральную ответственность. Подобное утверждение справедливо не только в области любовных чувств, но и во всех остальных сферах человеческой жизни, поскольку именно язык, как таковой, способен принудить нас к моральной ответственности за совершенные нами действия.

¹⁸Неслучайно древний индоевропейский корень *lubhyati* (lubhyati), обычно используемый в санскрите для обозначения *непреодолимого желания*, служит этимологической основой для большинства слов любви в самых разных европейских языках. Например, таких как английское «love», немецкое «liebe», голландское «liefde», чешское «láska», польское «miłość», русское «любовь» и даже датское «kærlighed» или шведское «älska».

¹⁹Эмили Рорти, например, также соглашается с тем, что используемые нами в повествованиях шаблонные описания любовных чувств меняются в зависимости от складывающихся социокультурных условий. В частности, она признает, что «история... любви [в ее нынешнем привычном для нас виде. — Прим. А. Н.]... появляется довольно поздно... она возникает после романтизма...» [4, p. 406; ср. также с этим: 29, p. 198 – 199; 30, p. 152 – 164].

²⁰Доппельгангер (нем. Doppelgänger) — излюбленный герой романтических писателей, метафизический двойник человека, олицетворяющий темные стороны его личности.

²¹Фрэнк Анкерсмит в одной из своих остроумных реплик так, например, описывает «пропасть», которая разделяет опыт (экзистенциальный порядок) и язык (символический порядок): «Между языком и опытом невозможно никакого компромисса, победа одного оборачивается неизбежным поражением другого. Поистине, они являются смертельными врагами: там, где есть язык, опыта нет, и наоборот. Мы владеем языком, чтобы у нас не было опыта, чтобы остерегаться опасностей и страхов, обычно вызываемых опытом; язык — это щит, ограждающий нас от ужасов прямого контакта с миром, который происходит в опыте. Язык дает нам образ мира, но как таковой он может предложить лишь тень тех ужасов, которые наполняют мир, и — тех опасностей, которые этот мир может провоцировать. Язык, символический порядок, позволяет нам избегать затруднений, вызываемых прямым столкновением с миром, который дается нам в опыте» [31, с. 33].

²²Иными словами, если я имею надежные основания быть убежденным в том, что я действительно люблю реальную девушку Еву (скажем, мои представления о ней соответствуют наблюдаемой мною ситуации: она действительно мила, добра, умна или, напротив, порочна, жестока и эгоистична, — в зависимости от того, что именно меня так сильно привлекает в этой девушке), я должен, по мнению записных романтиков, во всех таких случаях переживать соответствующий ураган любовных чувств. Однако если моя убежденность в своих чувствах к этой девушке Еве оказывается необоснованна и поколеблена (когда кто-то другой или же я сам, внезапно как бы «открывают» мне глаза на собственные переживания), мои чувства должны были бы измениться, застилающая мои глаза любовная пелена должна была бы благополучно спастись.

²³Это становится очевидным, стоит нам только взглянуть на определение (если таковое вообще возможно) страстных любовных переживаний, предложенное Элейн и Уильямом Уолстонами: «Патическая любовь (passionate love) есть буйство эмоций, сумбурность наших чувств; нежность и сексуальность, восторг и боль, тревога и успокоение, самоотречение и ревность» [34, p. 2].

²⁴По словам Карен Физер, именно «... боль... кажется, самый очевидный и ясный пример объекта, который никто, кроме человека, переживающего эту боль, не может непосредственно испытывать и который может быть описан только самим этим человеком» [35, p. 1].

²⁵Людвиг Витгенштейн не без доли иронии замечает в этой связи: «О себе вообще нельзя сказать (разве что в шутку): я знаю, что мне больно. Что бы это должно было означать помимо того, что я испытываю боль?» [36, с. 171]. И хотя обычно «то, что некто чувствует... отличается от того, в чем он убежден» [19, p. 226; ср. также с этим: 37, p. 105], это абсолютно не так, если речь идет о *настоящей* боли или *подлинной* любви.

²⁶Некоторым неискушенным критикам и романтикам может показаться, что действительных проблем с описаниями боли на самом деле не больше, чем с повествованиями о любовных чувствах. Например, они могли бы считать вполне разумным мнение о том, что даже самые примитивные формы речевого поведения (наподобие крика или стога) легко бы справились с этим, не говоря уже об именах, которые мы могли бы присвоить нашей боли. Однако это — очередная нарративная иллюзия, словесная путаница, которую навязывает нам язык. Людвиг Витгенштейн, например, избавляется от нее с помощью следующих слов: «... «То есть ты говоришь, что слово 'боль', по сути, означает крик» — Да нет же; *словесное выражение боли замещает крик, а не описывает его*» [36, с. 171; курсив мой. — Прим. А. Н.]. Основой для возникающей здесь языковой путаницы, как кажется, служит наша неясная (и почти врожденная) склонность отождествлять между собой в своих речевых действиях условия наличия значения (meaning conditions, т.е. условия, от которых зависит осмысленность произносимых нами слов) и условия утверждаемости (assertion conditions, т.е. условия, от которых зависит уместность или неуместность произносимых нами слов) [ср. с этим: 38, с. 239]. Например, в конкретной ситуации, когда я *действительно* чувствую острую боль, моя реплика «Я знаю, что мне больно» должна была бы звучать довольно странно: она, вероятно, была бы вполне осмысленна (так как обозначала бы реальное переживание мною невыносимой боли), но в то же самое время была бы не совсем уместна для произнесения (скажем, мой крик или даже тихий стон от остро испытываемой мною реальной боли был бы намного более уместен в такой ситуации).

²⁷Абсолютная незаменимость (irreplaceable) объекта наших любовных воздыханий является, пожалуй, одной из наиболее ярких и узнаваемых черт *истинной, настоящей, или подлинной любви* (the true love / the genuine love / the authentic love). Именно это принципиально неустрашимое из любых аутентичных любовных переживаний обстоятельство неизбежно привлекает к себе взгляды тех немногочисленных философов,

которые, набравшись изрядной смелости, все же рискнули и занялись любовью, точнее — такой неакадемичной и на редкость непопулярной среди серьезных исследователей темой, как Love Studies [например, см.: 8, р. 135; 17, р. 370; 39, р. 166–167; 40, р. 250–252].

²⁸Под ощущением любовной страсти здесь мы подразумеваем, как сказал бы Питер Стросон, некий неразложимый далее примитив, или партикулярию, особенность которой заключается в том, что рассматриваемая как «вещь» она остается всегда одной и той же целью «вещью» — и в те моменты, когда она только наблюдается, и в те моменты, когда она только чувствуется [подробнее см.: 41, с. 122–124], — а значит, моя боль и моя любовь (или что-либо еще, в приватность чего я страстно желаю верить) на самом деле служат примерами того, что одновременно и *наблюдается*, и *переживается*. Строго дизъюнктивное мышление здесь, где нужно мыслить конъюнкцию, успешно вводит нас в заблуждение, побуждая видеть две разных «вещи» там, где место есть только одной-единственной.

²⁹Гарри Франкфурт, например, без всякого стеснения признает, что «любовь заключена в имени любимой» [39, р. 170; ср. с этим: 40, р. 249–250].

³⁰Именно в таком контексте следует согласиться с фразой Нико Колодны о том, что «любовь — произвольна по своей природе» [8, р. 138].

³¹Неудивительно, например, что одно из неперемных условий любого успешного речевого акта, по мнению Джона Сёрля [42, р. 141–142], состоит в том, что человек не должен говорить того, что в силу своей очевидности не заслуживает произнесения. Совершенно очевидно, что, когда мне больно или когда я действительно в кого-то влюблен, сам я *это* знаю точно. Мы не говорим о том, что очевидно, просто потому, что мы *так* не говорим. А стало быть, то, что я знаю, что я люблю Еву, хоть для меня и совершенно очевидно, тем не менее *это*, как таковое, не заслуживает повествования. Иронично парфразирова Альфреда Айера, мы могли бы сказать и так: довольно неуместно с нашей стороны говорить «Я знаю, что люблю», потому что, если я люблю, само собой разумеется, я *это* знаю [ср. с этим: 43, р. 59].

³²Как сказал бы в такой ситуации Людвиг Витгенштейн: «Нельзя сказать, что другие узнают о моих ощущениях *только* по моему поведению, так как и обо мне нельзя сказать, что я *знаю* свои ощущения. Они просто у меня есть» [36, с. 172; ср. с этим: 2, с. 135].

³³С изрядной долей сарказма, мы могли бы сказать, что любить патически, или страстно, означает — заниматься любовью, любить же романтически — всего лишь уметь ярко и красочно об *этом* повествовать. Это шокирующее на первый взгляд своей откровенностью крайне неприличное заявление в действительности дает нам лишь ясное понимание особого статуса и роли сексуального влечения во всех тех случаях, когда речь идет о подлинной страсти, выражающей себя в патических размышлениях переживаний. Даже такой великий морализатор и «девственник» в области любовных отношений, как Иммануил Кант, тонко ощущал силу и влиятельность подобных обстоятельств для страстно влюбленных сердец: «Половое влечение называется также любовью (в самом узком смысле слова) и в действительности есть величайшее чувственное наслаждение каким-либо предметом; не просто чувственное наслаждение предметами, которые нравятся при одном лишь размышлении о них... а наслаждение, получаемое от пользования другим лицом и относящееся, таким образом, к способности желания, и притом к высшей ее ступени — страсти. Но его нельзя причислять ни к любви удовольствия, ни к любви благоволения (так как они, скорее, удерживают человека от плотского наслаждения): оно есть наслаждение особого рода (*sui generis*), и пылкость не имеет, собственно, ничего общего с моральной любовью» [44, с. 364; курсив мой. — Прим. А. Н.]. Этими словами Иммануил Кант недвусмысленно характеризует такую конститутивную особенность патических любовных переживаний, как присутствие в них непре-

одолимого сексуального влечение к объекту своей страсти, — именно сексуальное влечение, как таковое, играет в них ключевую роль, устанавливая безусловную доминацию чувственности над воображением, в то время как романтическая любовь вполне способна для своих нужд обходиться одним только лишь чистым воображением [например, ср. с этим: 45, р. 50; также см.: 46–48; разумеется, это вовсе не исключает факты вероятного присутствия очевидных сексуальных мотивов в мире романтических чувств, например, см. об этом: 49].

³⁴Патическая любовь — *абсолютно аморальна*. Такое крайне неприятное по виду заявление, впрочем, не повод для смущения, и тем более — удивления. Иммануил Кант, например, открыто говорил о том, что всякая человеческая страсть по природе своей морально пагубна [50, с. 349; также см.: 44, с. 364], а стало быть, охватывающий наши сердца любовный *pathos* не является здесь исключением. Подобно кантовской *amor complacentiae* — любви патологической, любовь патическая также напрямую связана с тем удовольствием, которое рождает в нашем сердце простое представление о существовании объекта нашей любви [44, с. 337]. Как и всякое патологическое чувство (алчность, корысть и др.) *amor complacentiae* не способна содержать в себе никакой априорной моральной ценности и, следовательно, легко может вести нас к нарушению безусловных моральных максим, выступая благодатной почвой для появления массы случайных приватных стимулов наших действий, активно конкурирующих с единственным подлинно нравственным мотивом действовать, основанным на безусловном уважении к моральному закону. По мнению Канта, любые наши чувства, если только они предшествуют нашему представлению о моральном законе, являются патологическими (*pathologische*), и именно этим они отличаются от так называемых «моральных чувств» (уважение, доброжелательность, безличная филантропическая симпатия и др.), которые нам служат в качестве таковых *per definitionem*, ибо в нашей повседневной практике они лишь строго следуют требованиям долга и велениям нравственных максим, являясь бесстрастными продуктами нашего представления о моральном законе [подробнее см.: 44, с. 334; также см.: 51, с. 99–100; 52, р. 134–135; 23, р. 581–585, 588, 595].

³⁵Существование дискурсивного «Я», как таковое, требует для себя публичности. Подобное «Я» не может быть одиноким, оно обязательно должно отсылать себя к некоторому языковому сообществу. Поэтому любовный роман есть не что иное, как фиктивная попытка открыть публичную форму приватного языка (анонимного мира желаний и действий).

³⁶Гарри Франкфурт, говоря о чувстве подлинной любви, в частности, открыто противопоставляет так называемое «бескорыстие» (*disinterested*), свойственное многим проявлениям простой человеческой заботы, «самоотверженности» (*selfless*) любящего сердца [ср. с этим: 39, р. 167–168]. В этом отношении патическая любовь имеет некоторые едва уловимые сходные черты с такой практической формой любви Иммануила Канта, как *Liebe des Wohlwollens*: «... доброжелательная любовь (*Liebe des Wohlwollens*) является эмпирическим, патологическим желанием содействовать счастью (или благополучию) другого человека» [23, р. 587].

³⁷Здесь можно было бы воскликнуть подобно Уильяму Шекспиру: «Любовь — нельзя назвать патической любовью, коль скоро изменяет нам она, едва лишь обнаружив измененная в любимой!» [ср. с этим: 53, р. 1122].

³⁸Здесь речь идет о знаменитом «болевым» примере Людвиг Витгенштейна, когда он описывает ситуацию, в которой человек заявляет: «А как же быть с ЭТОЙ [здесь говорящий ударяет себя кулаком в грудь. — Прим. А. Н.] болью? Разве вы способны ее испытать!?! ...?» [ср. с этим: 36, с. 173].

Библиографический список

1. Sartre J.-P. Notebooks for an ethics. Chicago: The University of Chicago Press, 1992. 583 p. ISBN 0-226-73511-7.

2. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: опыт феноменологической онтологии. М.: ТЕРРА, Республика, 2002. 640 с. ISBN 5-275-00488-5.
3. Бестеги М. де. Проблема желания во французской феноменологии // *Философский журнал*. 2013. № 1 (10). С. 49–63.
4. Rorty A. O. The historicity of psychological attitudes: love is not love which alters not when it alteration finds // *Midwest Studies in Philosophy*. 1987. Vol. 10, no. 1. P. 399–412. DOI: 10.1111/j.1475-4975.1987.tb00548.x.
5. McMullin I. Love and entitlement: sartre and beauvoir on the nature of jealousy // *Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy*. 2011. Vol. 26, no. 1. P. 102–122. DOI: 10.1111/j.1527-2001.2010.01145.x.
6. Baron M. W. Love and respect in the doctrine of virtue // *Kant's metaphysics of morals: interpretative essays* / Ed. M. Timmons. Oxford: Oxford University Press, 2002. P. 391–407.
7. Софокл. Антигона // *Драмы* / под ред. М. Л. Гаспарова, В. Н. Ярхо. М.: Наука, 1990. С. 124–168. ISBN 5-02-012672-1.
8. Kolodny N. Love as valuing a relationship // *The Philosophical Review*. 2003. Vol. 112, no. 2. P. 135–189. DOI: 10.1215/00318108-112-2-135.
9. Hamlyn D. The phenomena of love and hate // *Philosophy*. 1978. Vol. 53, no. 203. P. 5–20. DOI: 10.1017/S0031819100016272.
10. Барт П. Фрагменты речи влюбленного. М.: Ad Marginem, 1999. 431 с. ISBN 5-93321-002-1.
11. Апресян Р. Г. Слова любви: eros, philia, agape // *Философия и культура*. 2012. № 8 (56). С. 27–40.
12. Halwani R. *Philosophy of love, sex and marriage: an introduction*. NY: Routledge, 2010. 334 p. ISBN 0-203-85636-8.
13. Cummins W. J. «Eros», «Ephithumia», and «Philia» in plato // *Apeiron: A Journal for Ancient Philosophy and Science*. 1981. Vol. 15, no. 1. P. 10–18. DOI: 10.1515/APEIRON.1981.15.1.10.
14. Taylor G. Love // *Proceedings of the Aristotelian Society*. 1976. Vol. 76, no. 1. P. 147–164. DOI: 10.1093/aristotelian/76.1.147.
15. Lamb R. E. Love and rationality // *Love analyzed* / Ed. R. E. Lamb. Boulder CO: Westview Press, 1996. P. 23–48.
16. Abramson K., Leite A. Love as a reactive emotion // *The Philosophical Quarterly*. 2011. Vol. 61, no. 245. P. 673–699. DOI: 10.1111/j.1467-9213.2011.716.x.
17. Velleman D. J. Love as a moral emotion // *Ethics*. 1999. Vol. 109, no. 2. P. 338–374. DOI: 10.1086/233898.
18. Velleman D. J. Beyond price // *Ethics*. 2008. Vol. 118, no. 2. P. 191–212. DOI: 10.1086/523746.
19. Price C. What is the point of love? // *International Journal of Philosophical Studies*. 2012. Vol. 20, no. 2. P. 217–237. DOI: 10.1080/09672559.2011.629367.
20. Bagley B. Loving someone in particular // *Ethics*. 2015. Vol. 125, no. 2. P. 477–507. DOI: 10.1086/678481.
21. Ebels-Duggan K. Against beneficence: A normative account of love // *Ethics*. 2008. Vol. 119, no. 1. P. 142–170. DOI: 10.1086/592310.
22. *Moral Philosophy: Collin's Lecture Notes* // *Kant: lectures on ethics* / Ed. P. Heath, J. B. Schneewind. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. P. 37–222.
23. Arroyo C. Kant on the emotion of love // *European Journal of Philosophy*. 2016. Vol. 24, no. 3. P. 580–606. DOI: 10.1111/ejop.12128.
24. Lewis C. S. *The four loves*. NY: Hartcourt Brace College Publishers, 1960. 192 p.
25. Малкольм Н. Людвиг Витгенштейн: воспоминания // *Людвиг Витгенштейн: человек и мыслитель*. М.: Прогресс, Культура, 1993. С. 29–96.
26. Husserl E. *Ideen zu einer reinen phänomenologie und rhänomenologischen philosophie*. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1976. 476 s.
27. Dennett D. C. Why everyone is a novelist // *Times Literary Supplement*. 1988. No. 4459. P. 1028–1029.
28. Anscombe G. E. M. *Intention*. Cambridge MA: Harvard University Press, 2000. 94 p. ISBN 0-674-003999-3.
29. Illouz E. *Why love hurts: a sociological explanation*. Cambridge: Polity Press, 2012. 293 p. ISBN 978-0-7456-6152-0.
30. May S. *Love: a history*. New Haven: Yale University Press, 2011. 294 p. ISBN 978-0-300-11830-8.
31. Анкерсмит Ф. П. *Возвышенный исторический опыт*. М.: Европа, 2007. 612 с. ISBN 978-5-9739-0127-1.
32. Graham G., Stephens G. L. *Mind and mine* // *Philosophical Psychopathology* / Ed. G. Graham, G. L. Stephens. Cambridge MA: MIT Press, 1994. P. 91–109.
33. Hampshire S. *Feeling and expression* // *Freedom of Mind and Other Essays*. Princeton: Princeton University Press, 1971. P. 143–159.
34. Walster E., Walster G. W. *A new look at love*. Reading MA: Addison-Wesley, 1978. 224 p.
35. Fiser K. B. Privacy and pain // *Philosophical Investigations*. 1986. Vol. 9, no. 1. P. 1–17. DOI: 10.1111/j.1467-9205.1986.tb00156.x.
36. Витгенштейн Л. *Философские исследования*. В 2 ч. // *Философские работы*. М.: Гнозис, 1994. Ч. 1. С. 75–319. ISBN 5-7333-0485-6.
37. Pugmire D. Real emotion // *Philosophy and Phenomenological Research*. 1994. Vol. 54, no. 1. P. 105–122. DOI: 10.2307/2108357.
38. Малкольм Н. Мур и Витгенштейн о значении выражения «Я знаю» // *Философия, логика, язык* / Под ред. Д. П. Горского, В. В. Петрова. М.: Прогресс, 1987. С. 234–263.
39. Frankfurt H. G. *Necessity, volition and love*. NY: Cambridge University Press, 1999. 180 p.
40. Grau C. Love and history // *The Southern Journal of Philosophy*. 2010. Vol. 48, no. 3. P. 246–271. DOI: 10.1111/j.2041-6962.2010.00030.x.
41. Стросон П. Ф. *Индивиды. Опыт дескриптивной метафизики*. Калининград: РГУ им. И. Канта, 2009. 328 с. ISBN 978-5-9971-0021-6.
42. Searle J. R. *Speech acts: an essay in the philosophy of language*. Cambridge: Cambridge University Press, 1969. 203 p.
43. Ayer A. J. *Privacy* // *The concept of a person and other essays*. NY: Macmillan Press, 1963. P. 52–81. ISBN 978-0-333-14878-5.
44. Кант И. *Метафизика нравов в двух частях* // *Сочинения: в 6 т.* М.: Мысль, 1965. Т. 4, ч. 2. С. 107–438.
45. Lee J. A. Love-styles // *The psychology of love* / Ed. R. L. Sternberg, M. Barnes. New Haven: Yale University Press, 1988. P. 38–67.
46. Berscheid E. Some comments on love's anatomy: or, whatever happened to old-fashioned lust? // *The psychology of love* / Ed. R. L. Sternberg, M. Barnes. New Haven: Yale University Press, 1988. P. 359–374.
47. Sternberg R. J. A Triangular theory of love // *Psychological Review*. 1986. Vol. 93, no. 2. P. 119–135. DOI: 10.1037/0033-295X.93.2.119.
48. Sprecher S., Regan P. C. Passionate and companionate love in courting and young married couples // *Sociological Inquiry*. 1998. Vol. 68, no. 2. P. 163–185. DOI: 10.1111/j.1475-682X.1998.tb00459.x.
49. Regan P. C. Of lust and love: beliefs about the role of sexual desire in romantic relationships // *Personal Relationships*. 1998. Vol. 5, no. 2. P. 139–157. DOI: 10.1111/j.1475-6811.1998.tb00164.x.
50. Кант И. *Антропология с прагматической точки зрения*. СПб.: Наука, 2002. 471 с. ISBN 5-02-026792-9.
51. Мачульская О. И. Тема любви в этической концепции Канта // *История философии*. 2000. № 5. С. 95–101.
52. Borges M. de. L. Kant on emotions and Williams' criticism // *Veritas: Journal of Philosophy & Theology*. 2013. Vol. 58, no. 1. P. 131–150.
53. Shakespeare W. *Complete works* / Ed. W. J. Craig. London: Oxford University Press, 1966. 1166 p.

НЕХАЕВ Андрей Викторович, доктор философских наук, профессор кафедры «Философия и социальные коммуникации».

SPIN-код: 5844-9381

AuthorID (РИНЦ): 394939

Адрес для переписки: A_V_Nehaev@rambler.ru

Нехаев А. В. Патанатомия любви, или Чем может быть полезно знание о том, что «знаешь, что влюблен»? // Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. 2018. № 2. С. 90–104. DOI: 10.25206/2542-0488-2018-2-90-104.

Статья поступила в редакцию 30.03.2018 г.

© А. В. Нехаев

UDC 177.61

DOI: 10.25206/2542-0488-2018-2-90-104

A. V. NEKHAEV

**Omsk State
Technical University,
Omsk, Russia**

THE PATHANATOMY OF LOVE. OR WHAT CAN BE USEFUL IN KNOWLEDGE THAT «YOU KNOW THAT YOU LOVE»?

A naive account of love considers all the existential experiences associated with this phenomenon as examples of the manifestation of romantic feelings. However, a more orderly analysis of the lover's verbal behavior makes a question the authenticity of romantic experiences. There is only one standard of true love based on high sensitivity and sexually colored passion.

Keywords: romantic love, eternal love, passionate love, sexual desire, loving zombie.

References

1. Sartre J.-P. Notebooks for an Ethics. Chicago: The University of Chicago Press, 1992. 583 p. ISBN 0-226-73511-7. (In Engl.).
2. Sartre J.-P. Bytiye i nichto: opyt fenomenologicheskoy ontologii [Being and nothingness: an essay on phenomenological ontology]. Moscow: TERRA, Respublika Publ., 2002. 640 p. ISBN 5-275-00488-5 (In Russ.).
3. Beistegui M. de. Problema zhelaniya vo frantsuzskoy fenomenologii [The problem of desire in french phenomenology] // Filosofskiy zhurnal. *Philosophical Journal*. 2013. No. 1 (10). P. 49–63. (In Russ.).
4. Rorty A. O. The historicity of psychological attitudes: love is not love which alters not when it alteration finds // *Midwest Studies in Philosophy*. 1987. Vol. 10, no. 1. P. 399–412. DOI: 10.1111/j.1475-4975.1987.tb00548.x. (In Engl.).
5. McMullin I. Love and entitlement: sartre and beauvoir on the nature of jealousy // *Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy*. 2011. Vol. 26, no. 1. P. 102–122. DOI: 10.1111/j.1527-2001.2010.01145.x. (In Engl.).
6. Baron M. W. Love and respect in the doctrine of virtue // *Kant's metaphysics of morals: interpretative essays* / Ed. M. Timmons. Oxford: Oxford University Press, 2002. P. 391–407. (In Engl.).
7. Sophocles. Antigona [Antigone] // *Dramy [Dramas]* / Ed. M. L. Gasparov, V. N. Yarkho. Moscow: Nauka Publ., 1990. P. 124–168. ISBN 5-02-012672-1. (In Russ.).
8. Kolodny N. Love as valuing a relationship // *The Philosophical Review*. 2003. Vol. 112, no. 2. P. 135–189. DOI: 10.1215/00318108-112-2-135. (In Engl.).
9. Hamlyn D. The phenomena of love and hate // *Philosophy*. 1978. Vol. 53, no. 203. P. 5–20. DOI: 10.1017/S0031819100016272. (In Engl.).
10. Barthes R. *Fragmenty rechi vlyublennogo* [A lover's discourse: fragments]. Moscow: Ad Marginem Publ., 1999. 431 p. ISBN 5-93321-002-1. (In Russ.).
11. Apresyan R. G. Slova lyubvi: eros, philia, agape [The words of love: eros, philia, agape] // *Filosofiya i kul'tura. Philosophy and Culture*. 2012. No. 8 (56). P. 27–40. (In Russ.).
12. Halwani R. *Philosophy of love, sex, and marriage: an introduction*. NY: Routledge, 2010. 334 p. ISBN 0-203-85636-8. (In Engl.).
13. Cummins W.J. «Eros», «Epithumia», and «Philia» in Plato // *Apeiron: A Journal for Ancient Philosophy and Science*. 1981. Vol. 15, no. 1. P. 10–18. DOI: 10.1515/APEIRON.1981.15.1.10. (In Engl.).
14. Taylor G. Love // *Proceedings of the Aristotelian Society*. 1976. Vol. 76, no. 1. P. 147–164. DOI: 10.1093/aristotelian/76.1.147/. (In Engl.).
15. Lamb R. E. Love and Rationality // *Love Analyzed* / Ed. R. E. Lamb. Boulder CO: Westview Press, 1996. P. 23–48. (In Engl.).
16. Abramson K., Leite A. Love as a reactive emotion // *The Philosophical Quarterly*. 2011. Vol. 61, no. 245. P. 673–699. DOI: 10.1111/j.1467-9213.2011.716.x. (In Engl.).
17. Velleman D. J. Love as a moral emotion // *Ethics*. 1999. Vol. 109, no. 2. P. 338–374. DOI: 10.1086/233898. (In Engl.).
18. Velleman D. J. Beyond price // *Ethics*. 2008. Vol. 118, no. 2. P. 191–212. DOI: 10.1086/523746. (In Engl.).
19. Price C. What is the point of love? // *International Journal of Philosophical Studies*. 2012. Vol. 20, no. 2. P. 217–237. DOI: 10.1080/09672559.2011.629367. (In Engl.).
20. Bagley B. Loving someone in particular // *Ethics*. 2015. Vol. 125, no. 2. P. 477–507. DOI: 10.1086/678481. (In Engl.).
21. Ebels-Duggan K. Against beneficence: A normative account of love // *Ethics*. 2008. Vol. 119, no. 1. P. 142–170. DOI: 10.1086/592310. (In Engl.).

22. Moral Philosophy: Collin's Lecture Notes // Kant: lectures on ethics / Ed. P. Heath, J. B. Schneewind. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. P. 37–222. (In Engl.).
23. Arroyo C. Kant on the emotion of love // *European Journal of Philosophy*. 2016. Vol. 24, no. 3. P. 580–606. DOI: 10.1111/ejop.12128. (In Engl.).
24. Lewis C. S. The four loves. NY: Hartcourt Brace College Publishers, 1960. 192 p. (In Engl.).
25. Malcolm N. Lyudvig Vitgenshteyn: vospominaniya [Ludwig Wittgenstein: a memories] // Lyudvig Vitgenshteyn: chelovek i myslytel' [Ludwig Wittgenstein: A man and the thinker]. Moscow: Progress, Kul'tura Publ., 1993. P. 29–96. (In Russ.).
26. Husserl E. Ideen zu einer reinen phänomenologie und rñnomenologischen philosophie. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1976. 476 s. (Germ.).
27. Dennett D. C. Why everyone is a novelist // *Times Literary Supplement*. 1988. No. 4459. P. 1028–1029. (In Engl.).
28. Anscombe G. E. M. Intention. Cambridge MA: Harvard University Press, 2000. 94 p. ISBN 0-674-003999-3. (In Engl.).
29. Illouz E. Why love hurts: a sociological explanation. Cambridge: Polity Press, 2012. 293 p. ISBN 978-0-7456-6152-0. (In Engl.).
30. May S. Love: a history. New Haven: Yale University Press, 2011. 294 p. ISBN 978-0-300-11830-8. (In Engl.).
31. Ankersmit F. R. Vozvyshennyy istoricheskiy opyt [Sublime historical experience]. Moscow: Evropa Publ., 2007. 612 p. ISBN 978-5-9739-0127-1. [In Russ.].
32. Graham G., Stephens G. L. Mind and mine // *Philosophical Psychopathology* / Ed. G. Graham, G. L. Stephens. Cambridge MA: MIT Press, 1994. P. 91–109. (In Engl.).
33. Hampshire S. Feeling and expression // *Freedom of Mind and Other Essays*. Princeton: Princeton University Press, 1971. P. 143–159. (In Engl.).
34. Walster E., Walster G. W. A new look at love. Reading, MA: Addison-Wesley, 1978. 224 p. (In Engl.).
35. Fiser K. B. Privacy and pain // *Philosophical Investigations*. 1986. Vol. 9, no. 1. P. 1–17. DOI: 10.1111/j.1467-9205.1986.tb00156.x. (In Engl.).
36. Wittgenstein L. Filozofskiye issledovaniya. In 2 parts. [Philosophical Investigations] // *Filozofskiye raboty* [Philosophical Works]. Moscow: Gnozis Publ., 1994. Part 1. P. 75–319. ISBN 5-7333-0485-6. (In Russ.).
37. Pugmire D. Real emotion // *Philosophy and Phenomenological Research*. 1994. Vol. 54, no. 1. P. 105–122. DOI: 10.2307/2108357. (In Engl.).
38. Malcolm N. Mur i Vitgenshteyn o znachenii vyrazheniya «Ya znayu» [Moore and Wittgenstein on the Sense of «I Know»] // *Filozofiya, logika, yazyk* [Philosophy, logic, language] / Ed. D. P. Gorskiy, V. V. Petrov. Moscow: Progress Publ., 1987. P. 234–263. (In Russ.).
39. Frankfurt H. G. Necessity, volition, and love. NY: Cambridge University Press, 1999. 180 p. (In Engl.).
40. Grau C. Love and history // *The Southern Journal of Philosophy*. 2010. Vol. 48, no. 3. P. 246–271. DOI: 10.1111/j.2041-6962.2010.00030.x. (In Engl.).
41. Strawson P. F. Individy. Opyt deskriptivnoy metafiziki [Individuals. An essay in descriptive metaphysics]. Kaliningrad: I. Kant RGU Publ., 2009. 328 p. ISBN 978-5-9971-0021-6 (In Russ.).
42. Searle J. R. Speech acts: an essay in the philosophy of language. Cambridge: Cambridge University Press, 1969. 203 p. (In Engl.).
43. Ayer A. J. Privacy // *The concept of a person and other essays*. NY: Macmillan Press, 1963. P. 52–81. ISBN 978-0-333-14878-5. (In Engl.).
44. Kant I. Metafizika nravov v dvukh chastyakh [The metaphysics of morals in two parts] // *Sochineniya: v 6 t.* [Works in 6 vol.]. M.: Mysl' Publ., 1965. Vol. 4, part 2. P. 107–438. (In Russ.).
45. Lee J. A. Love-styles // *The psychology of love* / Ed. R. L. Sternberg, M. Barnes. New Haven: Yale University Press, 1988. P. 38–67. (In Engl.).
46. Berscheid E. Some comments on love's anatomy: or, whatever happened to oldfashioned lust? // *The psychology of love* / Ed. R. L. Sternberg, M. Barnes. New Haven: Yale University Press, 1988. P. 359–374. (In Engl.).
47. Sternberg R. J. A Triangular theory of love // *Psychological Review*. 1986. Vol. 93, no. 2. P. 119–135. DOI: 10.1037/0033-295X.93.2.119. (In Engl.).
48. Sprecher S., Regan P. C. Passionate and companionate love in courting and young married couples // *Sociological Inquiry*. 1998. Vol. 68, no. 2. P. 163–185. DOI: 10.1111/j.1475-682X.1998.tb00459.x. (In Engl.).
49. Regan P. C. Of lust and love: beliefs about the role of sexual desire in romantic relationships // *Personal Relationships*. 1998. Vol. 5, no. 2. P. 139–157. DOI: 10.1111/j.1475-6811.1998.tb00164.x. (In Engl.).
50. Kant I. Antropologiya s pragmaticheskoy tochki zreniya [Anthropology from a pragmatic point of view]. St. Petersburg: Nauka Publ., 2002. 471 p. ISBN 5-02-026792-9. (In Russ.).
51. Machul'skaya O. I. Tema lyubvi v eticheskoy kontseptsii Kanta [The theme of love in the ethical conception of Kant] // *Istoriya filosofii. History of Philosophy*. 2000. No. 5. P. 95–101. (In Russ.).
52. Borges M. de. L. Kant on emotions and Williams' criticism // *Veritas: Journal of Philosophy & Theology*. 2013. Vol. 58, no. 1. P. 131–150. (In Engl.).
53. Shakespeare W. Complete works / Ed. W. J. Craig. London: Oxford University Press, 1966. 1166 p. (In Engl.).

NEKHAEV Andrey Viktorovich, Doctor of Philosophical Sciences, Professor of Philosophy and Social Communications Department.
SPIN-code: 5844-9381
AuthorID (RSCI): 394939
Address for correspondence: A_V_Nehaev@rambler.ru

For citations

Nekhaev A. V. The pathanatomy of love. Or what can be useful in knowledge that «you know that you love»? // *Omsk Scientific Bulletin. Series Society. History. Modernity*. 2018. No. 2. P. 90–104. DOI: 10.25206/2542-0488-2018-2-90-104.

Received 30 March 2018.

© A. V. Nekhaev